



А. Ф. КОНИ

Воспоминания о В. О. Ключевском

Я не был близко знаком с жизнью Василия Осиповича Ключевского и с его профессорской деятельностью в университете и Духовной академии. Поэтому я могу говорить лишь о встречах с ним в его студенческие годы и затем в то время, когда его «судьбой отсчитанные дни» уже приближались к концу. Утешаю себя, вспоминая слова Гейне, который говорит, что для того, чтобы понять и оценить человека и его деятельность, нужно видеть их не в зените, а на восходе и закате.

В 1862 году, вследствие студенческих волнений, Петербургский университет был закрыт на два года. Группа петербургских студентов, к которой принадлежал и я, переселилась в Москву и образовала тесный дружеский кружок, быстро освоившийся с Москвой и полюбивший ее бытовые особенности. Кружок состоял преимущественно из слушателей словесного факультета — бывших воспитанников единственной тогда в Петербурге классической третьей гимназии. Юристов в нем было всего двое: я и покойный Гизетти¹. Между этими словесниками особенно выделялись — Н. Н. Куликов², живой, остроумный и сердечный человек, представлявший центральную фигуру нашего кружка, и М. А. Кавос³, оставивший во всех, кто его знал, память о себе как о человеке редкого — даже в то время, и притом самого разностороннего образования. Нам всем приходилось много работать на неделе, давая уроки и записывая лекции в университете, но по субботам вечером мы собирались у Куликова и двух его товарищей, живших вместе, в переулке у Николая Явленного, близ Арбата. Мы приносили каждый свою долю участия в общей трапезе, слушали игру Куликова на купленном в складчину стареньком фортепиано и беседовали до глубокой ночи о всевозможных вопросах, волновавших наши

молодые умы. Вскоре к этому кружку примкнул уже коренной москвич Александр Иванович Кирпичников⁴, будущий известный ученый и профессор Харьковского и Московского университетов. Тогда это был высокий, сутуловатый, очень худой и бледный, несколько угрюмый человек, вносивший в наши беседы много интереса к истории и теории искусства и вызывавший одного из нас (Травинского), фанатического поклонника Шопенгауэра⁵, своими ироническими замечаниями на горячие споры, длившиеся чуть не до утра. Теперь никого из них уже нет в живых... Остался я один и, обращаясь к этому незабвенному времени, невольно повторяю стихи Некрасова: «А станешь стариться — нарви — цветов, растущих на могилах, — и ими сердце оживи».

Уже по прошествии трех месяцев наши словесники стали все чаще и чаще упоминать имя своего товарища Ключевского, относясь к нему с все возрастающим интересом и уважением. Наконец однажды, сколько мне помнится, осенью 1863 года, он посетил наше субботнее собрание и не раз затем в нем появлялся. Его невзрачная, скромная фигура, тихий голос и сдержанная молчаливость вначале невольно возбуждали у тех, кто не был на том же курсе одного с ним факультета, вопрос: «Да что же такого особенного в этом Ключевском? Почему сотоварищи, — склонные вообще к критическому отношению и зоркие на недостатки, добродушно осмеиваемые, — относятся к нему с таким почтением, как бы по молчаливому соглашению признавая его авторитетом в своей среде?» Но стоило ему живо заинтересоваться предметом разговора, особенно если он касался истории или искусства, как на эти вопросы получался самый вразумительный ответ. Ключевский оживлялся, вставал, делал несколько шагов по комнате и — обыкновенно стоя — начинал говорить, немедленно овладевая общим вниманием. Его речь на чудесном русском языке, тайной которого он владел в совершенстве, лилась неторопливо; по временам он останавливался и на минуту задумывался и затем снова пленял и удивлял выпуклостью образов, остротой и глубоким содержанием эпитетов и богатством сведений, приводимых в новом и подчас неожиданном освещении, за которым чувствовалась упорная работа самостоятельной мысли. Уже тогда в том, что он говорил, намечались — его взгляд на историю как на социальный процесс по преимуществу и его любовь к изучению исторических явлений и периодов со стороны проявления в них природы страны, человеческой личности и людского общества. Для большинства из нас, ходивших в Петербурге слушать блестящие лекции Костомарова,

то, что высказывал Ключевский, было в значительной степени новостью. Талантливый художник преобладал в Костомарове над спокойным созерцателем, и чувствовалось, что создаваемые им образы влияют на самый характер его исследований и на свойство его выводов. Он (я говорю преимущественно о его лекциях об Иванах III и IV, читанных в 1861–1862 гг.) ярко и увлекательно рисовал картины тех или других исторических явлений, заботливо отделявая бытовые условия и обстановку, среди которых они проявились. Наоборот, Ключевский обращал главное внимание на причины этих явлений, глубоко вдумываясь в них и как бы следуя известной формуле: “Vires unite agunt”⁶. Костомаров набрасывал искусною рукою изображение сложного здания, — Ключевский расчищал и исследовал почву для закладки фундамента. Многих из нас интересовал раскол, не только как религиозное и бытовое, но и как историческое явление, причем не всех удовлетворяла Щаповская⁷ теория происхождения старообрядчества. В этом отношении указания Ключевского и беседы с ним были для нас и желанны, и поучительны. Я не раз вспоминал их в позднейшие годы, когда встречался с этим глубокой важности явлением нашей жизни в моей судебной, преподавательской и законодательной деятельности. Однажды, уже на последнем курсе, Великим постом, он направил нас утром в воскресенье в Кремль — потолкаться между народом перед соборами и послушать в отдельных группах обычные тогда прения раскольников с православными, происходившие свободно и чуждые казенно-полицейского участия некоторых из позднейших миссионеров. Мы повторили эти утренние походы несколько раз уже без него, вынеся из них живые представления о многом, чего не могла бы нам дать тогдашняя скудная в этом отношении литература.

После смерти Ключевского мне пришлось получить письмо бывшего ученика покойного, молодого талантливого историка, который говорит: «Ключевский был историком Московской, а не какой иной Руси; он сам представляется ее памятником, настоящим московским человеком. Он не был ни гражданином правового государства — будущей России, ни деятелем подернутой западной культурой Руси Петровской, ни киевским богатырем, ни вольным сыном Новгорода. Он был всецело слугой и богомольцем московских государей, современником Тишайшего царя, а может быть, и царя Ивана. Эту эпоху он всего лучше знал, ее он всего красочнее рисовал, с нею всего теснее сжился. Он был то же для Руси Московской, что был Забелин⁸ для самой Москвы. Старая Московия говорила его устами,

и он думал ее мозгом и чувствовал ее сердцем. В этом была и сильная и слабая его сторона. Этим он подкупал историка, но этим же и отпугивал от себя политика...» Я не могу, однако, разделить этого взгляда на Ключевского за те периоды его деятельности, о которых я говорил выше и когда я лично мог присмотреться к нему. В наши студенческие годы он не был поклонником старой Москвы, а к славянофильству относился несомненно скептически. Но он уже тогда изучил и знал Москву с большой подробностью. В его беседах ее история рисовалась слушателю, как целая, определенная и законченная картина, а не как отдельные фрагменты последней. Любя русского человека, Ключевский «проникновенно» вглядывался в создавшиеся исторически свойства его, выработанные условиями, среди которых последний жил и с которыми ему постоянно приходилось бороться. Стоит припомнить тонкую характеристику русского человека, сделанную в его лекциях: наклонность дразнить счастье и играть в удачу, откуда явилось знаменитое «авось», — его удивительную способность к напряженному кратковременному труду и его непривычку к труду размеренному и постоянному, — легкость одоления им препятствий и опасностей и частое неумение выдержать с тактом и достоинством успех, — способность подводить итоги на счет искусства составлять сметы. Но ценя лучшие свойства русской души и сливаясь с ними, Ключевский не идеализировал прошлого и с беспристрастием историка и скорбью родного и близкого человека указывал на слабое развитие и рабскую приниженность личности, на подавленность и случайность проявления общественных сил, на грубость нравов и восточную хитрость приемов в этой самой Москве Грозного и Тишайшего, отводя среди причин всего этого справедливое место печальной и скудной природе, так мало дававшей опоры для свободного развития общежития.

Доказательством является его кандидатское рассуждение «Сказания иностранцев о Московском государстве», напечатанное впервые в приложениях к московским университетским известиям, только что начавшим выходить в 1865–66 годах, рядом с рассуждениями товарищей Ключевского по выпуску из университета — Шайкевича⁹ «О преступлениях против чести», Никольского¹⁰ «О внешних таможенных пошлинах» и моим «О праве необходимой обороны». Уже в этом первом печатном обширном труде Ключевского, представляющем результат огромной подготовительной работы, совершенно необычной для кандидатских сочинений, слышатся основные звуки его будущих блистательных лекций. Двенадцать глав рисуют нам Московское государство со всех сторон

и с точек зрения различных наблюдателей. Определяя историческую стоимость источников своего «рассуждения», Ключевский совершенно справедливо находил, что правильно оценивать и объяснять многие явления русской жизни иностранец, чуждый русским понятиям и привычкам, не мог, но описывать их, выставлять их выдающиеся черты, высказывать непосредственное впечатление, производимое ими, он мог лучше и полнее, нежели люди, к ним приглядевшиеся и притерпевшиеся... Поэтому домашняя жизнь и нравственный быт общества ускользали от наблюдений иностранцев, но зато внешние явления и наружный порядок общественной жизни, а также ее материальная сторона с особой верностью и полнотой укладывались в эти наблюдения. И картина, изображаемая нашим историком на основании таких наблюдений, почерпнутых из 35 иностранных источников, — отличается яркостью и полнотой именно в отношении внешних проявлений русской жизни с XV по XVII век. Как живы, например, описание приема иностранных послов в Москве, — передача впечатлений последних от царского двора и самого царя, считающего себя несравненно выше западных христианских монархов, презрительно говорящего Поссевину¹¹: «Что это за государи?!» и моющего после приема послов руки в нарочито поставленной при аудиенции золоченой лохани с кувшином и полотенцем; как характерны отзывы иностранцев о твердости, с которою русский ратник исполняет тяжелые предприятия и, равнодушный к своему помещению и пище, переносит нужду и труд; в каких живых красках представляется русская городская жизнь в XVI и XVII столетиях! Притом в этой картине постоянно чувствуется строгая разборчивость автора в материале, которым он пользуется, стараясь провести ясную грань между внешнею и внутреннею жизнью народа, между той областью, где следует искать *Wahrheit*¹², и тою, где неминуемо приходится встречаться с *Dichtung*¹³ со стороны «чужих»...

В этом отношении труд Ключевского очень выгодно отличался от составленного Костомаровым «Очерка домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях»¹⁴, вышедшего на шесть лет раньше и преисполненного безусловным доверием к сказаниям иностранцев (в особенности к запискам Горсея¹⁵) именно о той стороне русской жизни, которая им была наименее доступна и понятна. В памяти у нас, товарищей Ключевского, слушавших вместе с ним историю словесности у Буслаева (для юристов это был предмет необязательный, но многие посещали эти лекции, привлекаемые глубоким интересом их и оригинальностью), еще

были свежи указания Федора Ивановича на поспешность выводов и погрешность утверждений Костомарова. Так, например, оказывалось, что, говоря об образе Одигитрии-Пятницы, Костомаров смешал с Богоматерью св. Параскеву-Пятницу, причем в источнике, которым он пользовался, говорится вовсе не о Пятнице, а о Пяднице, т. е. о небольшом образке, величиною в пядь, откуда и самое слово пядница. Точно так же неверным оказывалось и предположение его о том, что на народных игрищах существовал обычай увенчивать удалых и ловких победителей, как это будто бы явствует из поговорки «Без борца — нет венца», тогда как это вовсе не народная поговорка XVI или XVII столетия, а духовоборческий «стих» конца XVIII столетия, обещающий венец в будущей жизни для борцов духом с грехами, соблазнами и прелестью здешнего мира.

В начале июня 1865 года мы окончили курс и разошлись по разным дорогам. Снова увидеть Ключевского мне пришлось лишь через пятнадцать лет, в июне 1880 года на торжестве открытия в Москве памятника Пушкину¹⁶. Это открытие было одним из самых выдающихся событий в русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет, с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но, во всяком случае, более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха и все постепенно стало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве. Накануне открытия памятника был торжественный прием депутатов в зале городской думы (на Воздвиженке) и чтение адресов и приветствие; на другой день с утра Москва приняла праздничный вид — у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные депутации правительственных, ученых и литературных обществ и редакций с венками и хоругвями. После обряда передачи памятника городу — пелена развернулась и упала — и под крики «ура» и пение хорами «Славься» Глинки¹⁷ предстала бронзовая фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головою. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину пред собою и временное забвение. У многих на глазах заблестали слезы... Хоругви задвигались, поочередно склоняясь пред памятником, и у подножия его быстро стала расти гора венков и эмблем. Через час в обширной актовой зале университета, переполненной так, что яблоку негде было упасть, состоялось торжественное за-

седание. После провозглашения имен избранных в почетные члены университета Я. К. Грота¹⁸, П. В. Анненкова¹⁹ и Тургенева²⁰ — причем последнее было встречено взрывом рукоплесканий и приветственных криков, бурными волнами носившимися в обширной зале — на кафедру взошел Ключевский. Несмотря на слабый голос, он быстро овладел присутствующими. В его манере говорить я почувствовал особое умение насторожить и обострить внимание слушателей. Простое, без всяких вычур слово его было так полновесно и с таким искусством соединяло в себе отвлеченные определения, широкие обобщения и жизненные образы, что слушающий очень скоро чувствовал себя вполне во власти лектора. В сжатое и точное его изложение по временам и совершенно неожиданно вправлялись афоризмы, в которых одновременно блистали яркая мысль и тонкое остроумие. Все те умственные свойства и особенности, которыми он выделялся среди нас, еще будучи студентом, широко развились в нем и окрепли. В нем слышался уже не только настойчивый искатель истины в любимом деле, но и хозяин в нем, ею уже в значительной мере овладевший. Пушкин-поэт и Пушкин-историк предстали в речи Ключевского пред слушателями в своем взаимоотношении, освещенном ново и оригинально. Пушкин оказался всего менее историком в своих исторических сюжетах — в «Полтаве», «Борисе Годунове» и др. и дал ценный материал для историка в повести, написанной между делом и без претензий на историческую достоверность. «Капитанская дочка», по мнению Ключевского, представляла такое правдивое воспроизведение эпохи, такую выхваченную из подлинной жизни того времени картину, что специальное исследование Пушкина «История Пугачевского бунта» может быть рассматриваемо только как подробное примечание к «Капитанской дочке». А затем Ключевский представил последовательное развитие главнейших типов XVIII и начала XIX столетий, закрепленных Пушкиным в различных его произведениях. Указывая на генетическую связь между ними, он в особенности остановился на одном, зародившемся слишком двести лет назад, в лице выдающегося исторического дельца — Ордина Нащокина²¹ и выраженном во времена Пушкина скупающим от безделья Евгением Онегиным. «Это русский человек, — говорил Ключевский, — который вырос в убеждении, что, хотя он и не родился европейцем, но обязан стать им. Без его биографии пустеет история нашего общества последних двух столетий. Около него сосредоточиваются, иногда от него исходят самые важные умственные, а подчас и политические движения». В ряде почерпнутых у Пушкина определенных и рельефно

описанных образов прошли перед нами разнообразные виды этого типа, зависевшие от различных способов решения рокового вопроса о том, как сделаться европейцем, родившись русским и решив, что русский — не европеец. Тут были и те, которые находили, что русское надо делать по-западноевропейски, и те, которые стремились переделать русское в западноевропейское, и те, которые думали стать европейцами, оставаясь русскими, и, наконец, те, которые находили, что необходимо перестать быть русскими. Между ними оказывались желающие заимствовать с Запада свет знания, но без огня, и желающие взять его целиком с тем, чтобы не подносить, однако, близко к глазам. Каждый из этих видов — арап Ибрагим, капитан Миронов, поручик Гринев, Дубровский и Троекуров — все это типы, драгоценные для историка. Сами по себе будучи продуктом поэтического вымысла, они, однако, составляют существенное дополнение к историческим актам и мемуарам. Галерея заключалась историческим недорослем — не карикатурой, а простым и повседневным явлением, не лишенным довольно почтенных качеств. Это был самый обыкновенный русский дворянин средней руки, учившийся понемногу, сквозь слезы, при Петре, со скукой при Екатерине II, но сделавший нашу военную историю и протоптавший славный путь под руководством Румянцевых и Суворовых²². К этой последней разновидности Пушкин относился с сочувствием, заставив капитанскую дочку предпочесть добродушного армейца Гринева блестящему гвардейцу Швабрину. «Историк XVIII столетия, — заявил Ключевский, — остается одобрить и сочувствие Пушкина, и вкус капитанской дочки». Свое чтение Ключевский закончил характеристикой Евгения Онегина и его ближайших потомков — Чацкого и Печорина и указанием, что заслуга Пушкина для истории в том, что он дал связную летопись нашего общества в лицах слишком за целое столетие и как художник стал между составителем мемуаров и историком, к великой радости последнего.

Речь Ключевского, осветив творчество Пушкина с новой стороны, произвела глубокое впечатление и вызвала во многих местах шепот сочувствия, которое еще до конца ее выразилось в громких рукоплесканиях²³.

Снова прошло много лет, что мы не видались, хотя довольно часто справлялись друг о друге. Я знал от бывших слушателей его, как окончательно сложился в нем глубокий ученый и мыслитель, перешедший от «Истории Государства Российского» и «Истории России» к истории образования личности русского народа, — и как развился замечательный художник, властитель гибкого и покор-

ного слова, умевший не только воссоздавать исторические образы, но и любить их, воплощая их в условиях их времени и деятельности, а не трактуя их горделиво с высоты современных взглядов. Старая, былая действительность оживала у него поэтому с особой ясностью, не окрашенная предвзятостью. В его исследованиях и изложении история, употребляя выражение Цицерона²⁴, была не только *vita memoriae*²⁵ и *testis temporum*²⁶, но и *lux veritatis*²⁷, исключавший роль судьи там, где гораздо более места мыслителю. Эти рассказы и отзывы подтвердились мерою полною, когда позднее я стал получать от него его превосходный курс истории с дорогими для меня надписями на заглавной странице. Я читал их не отрываясь, поучаясь и наслаждаясь одновременно и по несколько раз возвращаясь к одним и тем же страницам. В моей памяти еще жил благородный облик Сергея Михайловича Соловьева, задушевность его тона и широкий захват в его лекциях «истории России в эпоху преобразования». Как сейчас вижу его как бы углубленного в свои размышления и наблюдения, с полужакрытыми глазами, начинающим эти свои лекции в слегка приподнятом тоне рассказом о том, как «в одном государстве царственный ребенок, вследствие семейной вражды, подвергался страшной опасности, спасся чудесным образом, воспитывался в уединении среди низких людей, набрал себе из среды их новую храбрую дружину, одолел с нею противников и стал основателем нового общества, нового могущественного государства, проводил всю свою жизнь в борьбе и оставил по себе двойную память: одни благословляли его, другие проклинали»... Программа, начертанная в этих словах, была выполнена Соловьевым с чрезвычайной подробностью и удивительным богатством данных, добытых упорным и неустанным трудом. Но синтез всей этой сложной работы был сделан его учеником с неподражаемой ясностью и краткостью. Не могу отказать себе в удовольствии привести это место из лекций Ключевского, столь характеризующее его самого как историка-мыслителя. «Петр I, — говорит он, — своими понятиями и стремлениями близко подошел к идее правового государства: он видел цель государства в добре общем, в народном благе, не в династическом интересе, а средство для ее достижения в законности, в крепком хранении “прав гражданских и политических”; свою власть он считал не своей наследственной собственностью, а должностью царя, свою деятельность — служением государству. Но обстоятельства и привычки помешали ему привести свое дело в полное согласие с собственными понятиями и намерениями.

Обстоятельства вынуждали его работать больше в области политики, чем права, а от предшественников он унаследовал два вредные политические предрассудка — веру в творческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпения. Он не останавливался ни пред чьим правом, ни перед какой народной жертвой. Став преобразователем в европейском духе, он сберег в себе слишком много московского допетровского царя, не считался ни с правосознанием народа, ни с народной психологией и надеялся искоренить вековой обычай, водворить новое понятие так же легко, как изменял покрой платья или ширину фабричного сукна. Вводя все насильственно, даже общественную самостоятельность вызывая принуждением, он строил правомерный порядок на общем бесправии, и потому в его правомерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего элемента, свободного лица, гражданина».

«Я взял с собою за границу, — писал мне в 1908 году из Швейцарии старый московский студент, известный адвокат Пассовер²⁸, человек большого ума, с преобладанием в нем скептического и строго критического склада, — я взял с собою курс русской истории Ключевского... Послушайте! Ведь это просто гениально! Этот труд так меня захватил и своей формой и своим содержанием, что мне хочется упрекнуть вас: зачем вы не указали мне на эти книги раньше, если их уже читали, а если не читали, то что можете вы представить в свое оправдание?! Благодаря им я соединяю поправление от физической болезни с отдыхом для мысли, уставшей от той фальсификации науки, которою нас в последние годы потчуют под разноцветными ярлыками». В первой половине девяностых годов, будучи два раза в Москве, я посетил Василия Осиповича в его доме на Житной улице и провел с ним вечер у Н. В. Давыдова²⁹. Близорукое и бездушное преследование «инако верующих» в области религиозной пагубно для правосудия, отражавшееся и на деятельности судебных органов, и слепое, по отношению к будущему, подавление всяких проявлений правосознания и самостоятельности в обществе, связанное с суровым отношением к «инако мыслящим», были предметами наших бесед, во время которых в голосе и выражениях Ключевского звучала негодующая скорбь. Помнится, что его, как и встреченная мною за границей А. И. Чупрова, возмущало, но «не удивляло» противодействие, оказанное В. К. Плеве³⁰ по почину статс-секретаря Муравьева³¹ чтению мною публичных лекций «О нравственных началах в уголовном процессе». В это же время его смущала наша дальневосточная политика, восхваляемая некоторы-

ми органами печати, самонадеянно и более, чем преждевременно присвоившими Северной Манчжурии название «Желтороссии»³².

Затем наступила тяжелая година 1904 года и состоялись известные заседания Комитета министров, в которых откровенно было признано болезненное состояние нашего внутреннего государственного организма и намечены некоторые способы и средства лечения. К последним относился восьмой пункт Высочайшего указа 12 декабря 1904 года, в котором было повелено «устранить из ныне действующих о печати постановлений излишние стеснения и поставить печатное слово в точно определенные законом пределы, предоставив тем отечественной печати, соответственно успехам просвещения и принадлежащему ей вследствие сего значению, возможность достойно выполнять высокое призвание быть правдивою выразительницею разумных стремлений на пользу России». Вследствие этого 21 января 1905 года образовано было особое совещание для пересмотра действующего цензурного законодательства и для составления нового проекта устава о печати. В состав этого совещания под председательством Д. Ф. Кобеко³³ вошли и мы с Ключевским. История занятий этого совещания очень поучительна как пример благих намерений и горячей законодательной работы, заеденных медлительностью канцелярской рутины и отсутствием твердости в столкновении с мимолетной «злостью дня». Здесь не место касаться ее в подробности. Достаточно лишь сказать, что в тридцати слишком ее заседаниях, начатых с единодушным желанием огромного большинства членов поставить печать в нормальные условия и освободить ее от обширного наслоения мер и распоряжений, основанных на усмотрении и произволе, был выработан проект устава о совершенной отмене предварительной цензуры и о замене ее по отношению к преступлениям печати так называемым “Objectivverfahren”³⁴, при котором судебная кара падает на сочинение, но не на личность автора. Грозные события опередили, однако, внесение этого устава на законодательное рассмотрение, и, задержанный на своем пути в течение пяти месяцев бюрократическим квиетизмом, он был неожиданно для членов комиссии заменен прямо противоположными «временными правилами» действующими и донныне там, где и они в свою очередь не заменяются усмотрением высшего местного административного начальства. Ключевский принял близко к сердцу задачу этого совещания, приезжал на важнейшие заседания из Москвы или периодически проживал для них в Петербурге, прося меня во время его отсутствия держать его в курсе наших работ и вызывать его

в случаях неотложной надобности в его участии или голосе. Он останавливался в гостинице Palais Royal, в Пушкинской улице, перед заседанием заходил обыкновенно ко мне, и мы вместе ехали в Мариинский дворец. Раза два мы совершили то же после обеда у М. М. Стасюлевича³⁵, в кругу главнейших участников «Вестника Европы», где Ключевский был всегда желанным гостем, несмотря на свою сдержанность старого москвича, несвободного от некоторого скептицизма по отношению к принятию «всерьез» петербургских взглядов и речей.

В заседаниях он, привыкший к совместной работе с людьми более или менее однородных приемов мышления и способов выражаться, не без любопытства вглядывался в духовную и нравственную «смесь одежд и лиц», которая свойственна нашим междуведомственным совещаниям и комиссиям. Тут были журналисты и публицисты (Стасюлевич, Суворин³⁶, Арсеньев³⁷, Пихно³⁸ и князь Мещерский³⁹), поэты (Голенищев-Кутузов⁴⁰, кн. Цертелев⁴¹), представители разных ведомств, бывшие и настоящие начальники главного управления по делам печати, сенаторы, духовные лица (епископ Антонин⁴² и др.) и, наконец, добровольцы, вроде киевского «обывателя», покойного Б. М. Юзефовича⁴³, постоянно остававшегося при особом мнении и после нескольких горячих, но неуспешных выступлений отрясшего прах ног своих и покинувшего совещание. Но лично Ключевский выступал редко, и тем с большим вниманием прислушивались все к его словам, в которых он являлся не только историком, но и политиком. Так, он подробно высказался по вопросу о переходе от концессионной системы разрешения повременных изданий к системе явочной. Доказывая, что надо держаться практической почвы и критиковать действующий порядок с точки зрения права, пользы и целесообразности, он возражал на заявления противников явочной системы, что она вызовет появление изданий, изменяющих к худшему самый тон печати, переполнение рынка недоброкачественными газетами и ущерб для кармана подписчиков. «Все это, — говорил он, — вполне возможно и при концессионной системе, все это у нас уже бывало и, что всего важнее, миновало без вреда для государственного порядка и общественной нравственности. Десять лет тому назад 78 литераторов в записке, поданной на Высочайшее имя, засвидетельствовали единогласно, что концессионный порядок был именно одною из причин вторжения промышленников и спекулянтов в нашу печать. Защитники действующего у нас порядка ищут опоры в аналогиях: сравнивают литератора с инженером, доктором, аптекарем и т. д.,

но аналогия сама по себе не разрешает вопроса, она должна опираться на принцип, а с принципиальной точки зрения большая разница между профессиональными правами и тем правом слова, одна из форм которого — право печати. Профессиональные права приобретаются — право слова есть право личное, принадлежащее каждому полноправному гражданину, оно может быть ограничено или потеряно лишь по суду или по соображениям государственным. Признано правда, что право слова, как и право союзов и собраний, имеет политическое значение, что это одна из форм общественной деятельности; но из этого вытекает лишь обязанность подчиняться в своей деятельности известным условиям, ограничение же самого приступа к пользованию печатным словом не может быть оправдано никакими политическими соображениями: можно ли лишать человека права издавать газету ввиду возможных, но еще не случившихся с его стороны злоупотреблений? Это значит — наказывать за счет не содеянных преступлений. Всякий полноправный и безупречный гражданин вправе обращаться к той или другой форме печатного слова, не испрашивая этого права, а только подчиняясь условиям, какими закон обставил его осуществление. Концессионный порядок свел эти условия к уничтожению самого права, между тем Уложение о наказаниях предоставляет суду не только приостанавливать временное издание или даже прекращать его совершенно, но и лишать виновных издателей и редакторов права на эти звания в течение продолжительного срока, и потому суд может давать достаточную гарантию против злоупотреблений. Говорят, что переход от действующей концессионной системы к системе явочной слишком крут. С этим трудно согласиться, — крут был бы, наоборот, переход от явочной системы к концессионной. Затем для избежания перелома предлагают улучшить действующую концессионную систему изъятием выдачи разрешений на повременные издания из рук министра внутренних дел и ее сосредоточением в особом вневедомственном учреждении из высших судебных и административных чинов, самое положение которых гарантировало бы правильную, последовательную и беспристрастную оценку всех происходящих в области печатного слова явлений. Предполагалось далее ввести в состав такого учреждения членов Академии наук. На первый взгляд, такое соединение в единой коллегии представителей права, политики и науки очень привлекательно, только трудно догадаться, как будет действовать совместно такая смешанная коллегия. Особенное недоумение вызывает вопрос, что делать в ней членам Академии наук. У науки один критерий — критика научная

и художественная, а тут академикам придется разрешать вопросы чисто полицейские. На каких, наконец, данных будет подобная коллегия основывать свои решения? Без собственных разведочных органов она принуждена будет обращаться за справками во все ведомства. Таким образом, из вневедомственной она должна будет превратиться во всеведомственную и от всех ведомств зависимую; единоличное усмотрение заменится усмотрением коллегиальным, что едва ли будет улучшением...»

При обсуждении ст. 140 цензурного устава, предоставлявшей министру внутренних дел право, по соображениям высшего правительства, налагать печать молчания на уста периодических изданий по тому или другому вопросу государственной важности, статьи, выродившейся на практике в ничем не оправдываемые запрещения говорить о тотализаторе и о допинге, о болезнях и перемещениях должностных лиц, о «поповках» черноморского флота и т. п., — Ключевский высказал, что статья эта представляется ему занесенною из какого-то другого документа и носит на себе следы более литературной, чем законодательной обработки, судя по выражениям, с трудом поддающимся юридическому анализу («высшее правительство», «вопросы государственной важности»). Одна из главных целей этой статьи — предупредить разглашение тайн того или другого ведомства. Но эта цель касается больше скромности подведомственных канцелярий, чем самой печати. Это в значительной мере вопрос служебной дисциплины, а не свободы печатного слова. В применении своем эта статья иногда как будто стыдилась самой себя. Несколько лет тому назад, говорил нам Ключевский, министр народного просвещения, во время студенческих волнений, посещал в Москве высшие учебные заведения, говорил с профессорами, успокоительно беседовал со студентами⁴⁴. Но периодическая печать, удрученная циркулярами о безусловном запрещении печатать какие-либо известия о беспорядках в высших учебных заведениях, молчала об этих беседах. Тогда по редакциям разослан был циркуляр от 17 февраля 1902 года, разрешавший или даже предписывавший «более свободно» печатать о министре народного просвещения. Лучше совсем отменить спорную статью, чем улучшать ее какими-либо ограничениями, которые на практике превратятся в излишние стеснения для печати. Предметы, печатное обсуждение которых в известный момент будет неудобным, должны быть указаны в общем законодательстве, а не в специальном уставе о печати, и самое применение этих указаний нужно урегулировать каким-либо законодательным способом, с наименьшим участием

административного усмотрения... Особенно горячо выступал он несколько раз против сохранения обособленной духовной цензуры. Он указывал, что надо в действительности освободить печать от излишних стеснений. Одним из них несомненно является духовная цензура. Отдел устава об этой цензуре, составленный в 1828 году, на практике привел к чрезвычайному произволу, заставляющему не понимать, как могла еще существовать при нем духовная литература. Нельзя рассматривать духовную цензуру как специальную, вроде медицинской или драматической. Цензурный устав дело полицейское, а церковь должна уметь сама защищать себя. В подтверждение своего взгляда на шаткость оснований, которыми руководится духовная цензура, он рассказал нам, что раз покойный Борис Николаевич Чичерин⁴⁵ принес ему большую кипу листов, прося провести это чрез духовную цензуру. Он дал рукопись на просмотр цензору-профессору Московской духовной академии, и чрез неделю тот сказал ему: «Если вы формально представите нам это сочинение, мы запретим, а если напечатаете как светское, мы придираемся не будем». Так появилась замечательная книга Чичерина «Наука и религия». В своих возражениях защитникам этой цензуры Ключевский очертил ее своеобразную историю. «Практика сначала пыталась создать цензуру мнений, — говорил он, — но это не удалось, и явилась цензура корректур. Цензор поправлял корректуру, выбрасывал одно, вставлял от себя другое, изменял третье, и так появилась целая литература поддельных книг, в которых под именем автора печатался цензор. К шестидесятым годам развитие литературы пошло так широко, что духовная цензура не могла его удержать, и потому гражданскую литературу перестала интересоваться, а остановилась на произведениях людей своего ведомства, сделалась цензурою писателей из духовного ведомства. Я удивляюсь, как еще сохранилась у молодежи энергия работать. Из корректурной обратясь в сословную, цензура стала преследовать авторов из своего ведомства и стала сливаться с критикою. Тут и не разберешь, где кончается разбор чужого мнения и где начинается полемика с чужим мнением. Полный произвол: цензор, не уполномоченный Церковью и не обладающий авторитетом Церкви, говорит автору, что сочинение не годится и писатель должен подчиниться»... Особенно горячо восстал он против предложения епископа Антонина о необходимости включить в устав о печати постановление о праве церковной власти проверять содержание духовных книг и высказывать по нему свой суд и осуждение. «Никогда с этим не соглашусь! — воскликнул Ключевский, — Устав — полицейское дело.

У Церкви есть право обличения, вразумления, поучения, все это права чисто нравственного свойства, этого и довольно. Но избави Бог, если будет включено в устав о печати право Церкви высказываться о содержании печатных произведений и произносить по ним свой суд! Как примирить институт духовной цензуры с тем общим положением, что единственный критерий веры — Евангелие и что единственный судья его толкования — Вселенский собор? Ни право Церкви высказывать свое осуждение, ни право писателя получать одобрение Св. Синода — не дело устава о цензуре. У Церкви есть один только авторитет — Священное Писание. Ужели имеется в виду создать и в России *index librorum prohibitorum*⁴⁶, как на Западе? Там этот индекс представляет из себя книгу в 900 страниц, с очень любопытными отзывами. Были попытки в Древней Руси составить списки “отреченных” книг, но, слава Богу, эти попытки не удались нашим предкам; не привилось у нас это шпионство религиозных убеждений, и к концу XVI века списки запретных книг исчезли из употребления. У Церкви нет власти, а только нравственный авторитет. Всякая власть есть по необходимости насилие, а Церковь должна быть чужда насилию».

В конце мая 1905 года Ключевский вернулся в Москву. Но события сменялись так быстро и неожиданно, влияя на взгляды и настроения, что в конце июля он вновь прибыл в Петербург для принятия участия в другом совещании, имевшим гораздо более важную задачу, окончательно выразившуюся в указе Сенату 6 августа 1905 года об учреждении законосовещательной Государственной думы. Нам не удалось увидаться, так как я проводил лето в Сестрорецком курорте, откуда выезжал редко, но я слышал из достоверного источника, что Ключевскому пришлось отстаивать сохранение за Думой права законодательного почина и бессословность выборов в нее, ссылаясь на то, что его — историка и знатока народной души и мирозерцания — пугают последствия возникновения в народном воображении представления о сословном Царе, блющем интересы лишь одного какого-либо класса своего государства. Осенью 1905 года он писал мне: «Вместе со всеми, кому дороги успехи русского общественного правосознания и русского свободного слова, приветствую вас глубоким товарищеским поклоном в день исполнившегося сорокалетия вашей службы. Тревожные дела в университете, к прискорбию моему, не позволяют мне приехать в Петербург и лично поздравить вас. Летом я много жалел, что уже не застал вас в Петербурге, а суета и тревоги, среди которых проходили мои петербургские дни, помешали мне навестить вас

в Сестрорецке: мне очень не доставало вашего общества и совета о текущих событиях». Мы виделись в последний раз — на очень короткое время, — когда он приезжал на выборы в Государственный совет от Академии и университетов. Хотя и уклонившись от принятия звания члена Государственного совета и всецело отдавшись своей ученой жизни, а затем тяжело потрясенный семейной утратой⁴⁷, он тем не менее, судя по одному из писем ко мне, с лихорадочным вниманием следил за всеми «муками рождения» нашего обновляемого государственного строя. Он высоко ставил самый факт существования Государственной думы и далеко не разделял тех порицаний и опасений, которые вызвали роспуск Думы первого призыва, очень его взволновавший. «Присматриваясь к деятельности этой Думы, — писал он мне 21 июля 1906 года, — я был вынужден признать два факта, которых не ожидал: это — быстрота, с какою сложился в народе взгляд на нее как на самый надежный орган законодательной власти, и потом бесспорная умеренность господствующего настроения, ею проявленного. Это настроение авторитетного в народе учреждения неизмеримо умереннее той революционной волны, которая начинает нас заливать, и существование Думы — это самое меньшее, ценою чего может быть достигнуто бескровное успокоение страны». Гораздо суровее относился он к Верхней Палате того времени, упрекая ее в дилетантизме и склонности к застою...

Член-корреспондент в 1889 году и вслед затем с 1900 года ординарный академик историко-филологического отделения Академии наук, Ключевский по непререкаемому праву вошел в среду высшего ученого учреждения России. Но в составе академии с 1899 года был образован Разряд изящной словесности, а Ключевский, независимо от своих ученых заслуг, был выдающийся художник, мастер русского слова и стилист. Члены Разряда могли сказать про него, повторяя известное изречение: «Rien ne manque a sa gloire — il manque a la nôtre»⁴⁸, и в ноябре 1908 года он был единогласно избран в почетные академики даже без баллотировки⁴⁹. На извещение мое об этом он ответил письмом от 13 ноября, которое позволяю себе привести целиком, ввиду высказанных в нем взглядов на значение писателей как общественных типов. «Пребольшое вам спасибо, — пишет он, — за ваше участие в моем избрании. Оно смутило меня; читая известительную телеграмму, я спросил себя: за что? Но в подписях я прочитал имена, которые привык произносить с глубоким уважением и любовью, и они меня успокоили. Вы спрашиваете, как мне живется. И так и сяк. Лето закончил воспалением горла, поправился в Крыму, а теперь опять расклеиваюсь, простужаясь то и дело. Эти

передраги и мешали мне быть исправным вашим корреспондентом. Но не вините меня за то строго: я умею ценить Ваши письма и только не умею своевременно отвечать на них. Не знаю, как благодарить вас за присланную вами статью о гр. Л. Н. Толстом⁵⁰ и за “Отрывки из воспоминаний”⁵¹. Не буду разборчив в выражениях, напишу первыми попавшимися словами. Во-первых, “Отрывки” заставили меня пережить чуть не половину моей жизни, 60-е, 70-е и 80-е гг. минувшего столетия, и это вторичное переживание пополнило мои личные воспоминания и во многом их исправило. А потом вы прямо-таки открыли мне Тургенева, Достоевского, Некрасова, Писемского, превратили литературные силуэты, какими они мне представлялись, в живые, яркие образы. И знаете, за что я вам особенно благодарен? Из ваших рассказов, столь для меня новых, я не вынес разочарований, напротив, обогатил только запас своих сочувствий: в ежедневной действительности, как вы изобразили этих мастеров, в конкретнейших, иногда мелких случаях их жизни, вами рассказанных, они не менее привлекательны, даже нередко привлекательнее, чем в своих произведениях. Сколько в них, думалось мне при чтении ваших воспоминаний, — сколько в них исторического и вместе сколько трагического! Не каждый из них носил на шейном шнурке мундштук вместо креста подобно Писемскому; но на плечах каждого, не исключая и Писемского, тяготел крест русской жизни. Желал бы я видеть смельчака, историка той, т. е. нашей, эпохи, который решился бы обойтись без Тургенева, Достоевского и т. д. не в главе о литературе, а в отделе об общественных типах, и вам в этом отделе волей-неволей придется занять в подстрочных примечаниях место пушкинского Пимена. — Только что прочитал продолжение ваших судебных воспоминаний в последней книжке “Русской старины”. Это — изнанка той же эпохи, и можно только позавидовать безгрешной завистью, с каких разнообразных сторон пришлось вам взглянуть на жизнь своего времени. Новые рассказы поразили меня не менее прежних. Семья чиновника NN останется в моей памяти таким же глубоким рубцом, как и игуменья Митрофания⁵². Не сердитесь на меня, дорогой Анатолий Федорович, за мои признания: я знаю, они вам не нужны; но вы ведь в них виноваты. Вы спрашиваете, прислать ли ваши речи в Государственном совете об университете Шанявского и по другим вопросам? — Я прошу вас об этом. Мало того: я надеюсь, приехав в Петербург (чего на свете не бывает!), услышать ваш рассказ об одном деле, вами мне обещанный. Видите, как я иногда памятлив. Я был очень огорчен известием о прекра-

щении “Вестника Европы”: без “Вестника Европы” я не понимаю русской журналистики, как не понимаю очков без стекол. Но слава Богу: очки останутся со стеклами. Хотелось бы узнать что-нибудь о М. М. Стасюлевиче. Хорошо помню его “день субботний”. До свидания. Не обходите меня ни письмами, ни литературными произведениями: те и другие для меня лекарства от моих недугов. Душевно Вам преданный В. Ключевский».

Согласно его желанию, я посылал ему стенографические отчеты заседаний Верхней Палаты по вопросам особой важности и обещал прислать таковой и по обсуждению законопроекта о свободе совести, вопрос о которой он в наших беседах считал одним из самых коренных и неотложных. Но этого сделать не пришлось. Заседания по законопроекту произошли уже чрез полгода после того, как навсегда смежились уста моего старого университетского товарища. Может быть, это для него и к лучшему... Едва ли в памяти покойного не «остались бы рубцом», — самая возможность — после великодушных возвещений указа 23 апреля 1905 года — беззастенчивого предложения лишать переходящих из православия в другие христианские исповедания права поступать на государственную службу, а уже находящихся на ней исключать из нее, или принятие большинством поправки об обращении в православную веру малолетних иноверцев, с разрешения Святейшего Синода, без согласия их родителей.

С горестью пришлось узнать о кончине Василия Осиповича... Он так много еще мог бы дать русской науке и русскому обществу, владея тайной художественного внушения и имея дар внушения нравственного, — влияя на читателя и слушателя одновременно и красотой, и совестью своего таланта... Но тот же цитированный мною вначале поэт сказал: «Всякое пламя приносит себя в жертву: чем ярче оно пылает, тем ближе оно к гибели...»

1912 г.

